

«Он заставлял нас заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского романа, русского духа», — так писал Иннокентий Смоктуновский об Александре Николаевиче Вертинском, которому в эти мартовские дни исполнилось бы 100 лет.

Артист эстрады и кино, поэт и композитор, Александр Вертинский создал свой жанр музыкальной новеллы. Всем памятен его слог:

Я — маленькая балерина,
Всегда нема, всегда нема,
И скажет больше пантомима,
Чем я сама.

Вертинский пользовался бесспорным и большим успехом еще до революции. Потом долгие годы эмиграции. В 1943 году вернулся на Родину.

Помню. Высокий, худой, уже немолодой человек негнбойной походкой выходит на эстраду. Изысканно сшитый фрак, сияющая белизной крахмальная сорочка. Вот он начинает петь тихим голосом, грассируя.

Вертинского надо было и слушать, и смотреть. Он мог мгновенно без грима создавать образ то мечтателя, то бродяги-поэта, то фата, то ветреной модницы... Исполнительская манера певца отличалась разнообразием интонационных красок.

Одним он нравился элегической грустью; кого-то привлекал уводящий от действительности образ; кому-то была по душе легкая ирония...

О руках Вертинского надо сказать особо. Жест его был скуп и выразителен. То вы дели, как он держит бокал, чтобы не расплескать налитое шампанское. То воссоздавал перед вами образ маленькой балерины. То сидел за рулем и вел мимо вас голубую «испаносуйзу». То, слегка покачиваясь, кружился в танце. А то его кисть поднималась вверх, и вы видели восходящую на небо луну.

Вертинский охотно гастролировал по стране. Публика аплодировала ему долго и бурно. Но ни одна газета, ни один журнал не посвятили ему ни одной строчки.

В конце 60-х годов готовилось издание книги воспоминаний Александра Николаевича, которая имела авторское заглавие «Дорогой длинною...». Ее редактором был историк театра критик К. Рудницкий. Не буду рассказывать о всех мытарствах этой рукописи — она так и не увидела свет. Правда, один экземпляр верстки сохранился. В свое время мне как одному из инициаторов этого несудавшегося издания преподнесли его в любительском переплете в подарок. Теперь книга хранится в Центральной научной библиотеке Союза театральных деятелей РСФСР. Не теряю надежды, что воспоминания А. Н. Вертинского будут изданы.

Предлагаю некоторые отрывки из этой книги.

В. НЕЧАЕВ.



«...Как бледен ваш Пьеро,
Как плачет он порой».



«Вырастут доченьки,
Доченьки мои...».



«Всю ночь ломая руки
От ярости и муки...».

«ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...»

Юность в Москве

БЫЛ СЕНТЯБРЬ 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — прием статистов, или «сотрудников», как это называлось. Я пошел на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи...

Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов — блока, Брюсова, Гумилева и Ахматову. Экзаменаторы дивились...

Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, ни даже сильно на шумевшего, скандально объявившего себя «гением» Игоря Северянина, с его «Громокипящим кубком» и «Ананасами в шампанском». А молодежь читала именно этих новых.

...Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь состав театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артем, Книппер, Леонидов, Массалитинов и, конечно, Станиславский с Немировичем-Данченко.

Первые три актера прошли благополучно. Церетели изысканно манерничал. Смышляев закатил истерику из Достоевского. Верочка Орлова плакала настоящими «вот такими» крупными слезами, видными издалека. Я был последним.

Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы.

— Чьи это стихи? — спрашивали меня. Я называл никому не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художественного театра пожимали плечами и переглядывались.

— А Пушкина вы читаете?

— Нет.

— Почему? Не любите его, что ли?

— Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина!

— Так как же так, любите и не читаете?

Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня.

— Оскар Уайльд говорит, — заявил я, — что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и... немедленно забыть.

Это была неслыханная дерзость! Тем не менее меня еще долго гоняли по программе и улыбались как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертел в руках карандаш, неожиданно спросил меня:

— Вот вы плохо произносите букву «р», что вы думаете делать с этим дефектом?

— Я буду учиться и исправлю его! — отвечал я дрожащим голосом.

— Довольно. Спасибо.

На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня. Все были уверены, что я принят. На

другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было.

ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас — молодых и непризнанных — футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание.

Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размазывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаке и читали там свои заумные стихи...

Конечно, самой яркой и крупной фигурой среди футуристов был Маяковский. В жизни Маяковский, мне кажется, был нелегкий человек. Он был замкнут, суров, надмен до предела, и выражение его лица с брезгливо выпяченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчеркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в мое время он читал их так. Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестках чувствовалось непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был неприимным и беспощаден в своих суждениях и оценках. Прирожденный революционер, после Октябрьской революции сразу же стал на сторону большевиков.

За словом в карман Маяковский, как говорится, не лез. Помню, как-то довольно sereneйши, но очень самолюбивый поэт Мешков, у которого уже был напечатан тощий сборничек «Снежные будни», осмелился критиковать какое-то стихотворение Маяковского в его присутствии. Маяковский, презрительно усмехнувшись, скривил рот и процедил сквозь зубы:

— Ну, конечно, вам оно не нравится! Да ведь вы небось привыкли:

Сучка божия не знает
Ни заботы, ни труда!

Взрыв хохота присутствующих окончательно сразил Мешкова. Он встал и вышел.

Первые успехи

ПО СТАРОМУ календарю это было 25 октября. День, как вам известно, начала Великой Октябрьской революции.

После бенефиса в первом часу ночи, захватив

с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках — ландыши, гиацинты, сирень в горшках, розы, — я на трех извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе...

Доехав до Страстного, я вдруг отчетливо услышал звуки выстрелов. Это началась революция. На этот раз настоящая. Ее ждали. В «Метрополе» сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы.

Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали:

— Слезай, барин! Дальше не поедет! Стеляют!

Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчикам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкина и пешком пошел в Грузины. Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и просмотрите газеты за этот день — 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертинского».

Увы. Тогда я не понял, с каким великим событием совпал мой первый бенефис. Я бы сказал заведомую неправду, если бы стал уверять вас, мой дорогой читатель, что сразу уверовал в революцию. Нет, прошлое еще цепко держало меня под своим влиянием, я не был ни достаточно мудр, ни достаточно политически образован, ни достаточно проницателен, чтобы ее принять и понять.

На всех постах революции стояли новые, никому не известные люди, какие-то «большевики», которых раньше никто не видел, прямые и напористые, грубоватые и совсем простые, пришедшие с фабрик, заводов, шахт, крепко севшие на свои места, по-видимому, не собиравшиеся их уступать никому.

Сразу переменялось лицо Москвы! Куда девались корректные, элегантные заговорщики — помощники присяжных поверенных, бодрые, любезные, как приказчики из знаменитых молочных магазинов Чичкина! Куда исчезли снисходительно-либеральные московские бары, земцы, общественные деятели, которые «все знали и все гениально предвидели!». Они исчезли. Притаились и выжидали, переодетые во все «старенькое». Москва примолкла.

Я ЖЕ ЖИЛ в своем Петровском театрике у Марьи Николаевны, писал новые вещи. Вскоре после октябрьских событий я выпустил песню «То, что я должен сказать». Написана она была под впечатлением смерти московских юнкеров, на похоронах которых я присутствовал.

...Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть недождающей рукой, Только так беспощадно, так зло и ненужно Опустили их в Вечный Покой!

Песня прозвучала сильно. В публике многие плакали, закрывая лицо руками. В нотных мага-

зинах, быстро изданная предприимчивым Андреевским, она расходилась в невероятном количестве экземпляров. Я пел ее ежедневно.

А в газетах травить меня вдруг перестали, и вот почему. Однажды, раскрыв газету «Русское слово» — это была самая крупная газета того времени, — я с изумлением увидел, что весь «подвал» занят статьей «короля» журналистов того времени — Власа Дорошевича. Статья была озаглавлена «Вертинский».

В этой статье Дорошевич брал меня под защиту. После такого признания было уже невозможно и просто неудобно ругать меня. Дорошевич заткнул рты моим маленьким врагам. Так утвердилось мое существование на театральном горизонте в тревожные дни молодой Советской республики.

Однажды Леонидов (Леонид Давидович Леонидов был антрепренером) сказал:

— Я хочу вас попросить. По-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть?

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что я снимаю несколько городов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас концертанта! Солиста. Настоящую артистическую величину! Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите?

Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск из театра, я уехал с ним.

Первый город был Екатеринбург (теперь Свердловск). Приехав в город, я прежде всего пошел посмотреть театр. В нем была тысяча двести мест! Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике было триста мест — и то дальше пятого ряда меня уже не слышно. А тут тысяча двести. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку. — Я провалюсь! Я не смогу! — убеждал я его. — Марья Николаевна вам все заплатит! Леонидов был неумолим.

— Падать, так с большого коня! — сказал он... и повел меня в кассу.

Старенькая горбатая кассирша, двадцать пять лет прослужившая в этом театре, сказала мне:

— Сбор полный, но мало того, у меня в театре есть за колоннами десять таких мест, с которых ничего не видно. За двадцать пять лет, что я здесь, в этом театре, они ни разу не продавались еще. На ваш концерт впервые даже эти десять мест проданы!

Ну что было делать?! Чтобы еще больше подбодрить меня, Леонидов показал мне две телеграммы. В одной было написано: «Провал полный. Леонидов». В другой: «Огромный успех! Наша лошадка пришла!».

— Вот, — сказал он, — я заготовил эти две телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью.

И ушел.

Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, которую всегда возил с собой, зажег лампаду, вызвал пианиста и сел за рояль — репетировать. Начало было в восемь часов вечера.

Кое-как я распелся... Но сердце... нервы... мучительный страх перед публикой... Я чувствовал, что не могу владеть собой!

Без четверти восемь я велел принести мне столик коньяку. Перед открытием занавеса я выпил ее до дна.

И сразу все стало просто. По телу разлился блаженный покой.

— Будь что будет! Все равно! — подумал я. — Падать, так падать!

Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная. Выжидающая, но пока еще недоверчивая. Да... я забыл еще сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Иодко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик — маленький пожилой Володя Сладкопевцев — неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный, талантливый.

Эти выступления до меня все же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись еще глотком коньяку, я уже пел увереннее. «Бал господен» тронул, наконец, все сердца... Мне аплодировали довольно много.

Последней была песня «То, что должен сказать». Я уже был «в ударе», что называется. В полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни в публику, — яростно, сильно и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне... Зал задохнулся — потрясенный и испуганный.

...Я думал, что меня разорвут! Зал дрожал от иступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин — все смешалось в один сплошной гул.

Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили...

Я ничего не слышал и ничего не понимал... Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста! Я выдержал его на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу я увидел лицо Леонидова. Он шел ко мне. В глазах у него были слезы.

— Молодец, мальчик! — сказал он, обнимая меня. — Умница! Вот... я рву обе телеграммы и посылаю эту...

Он прочел мне ее: «Успех небывалый. Вертинский победил. Вас можно поздравить! Мы угадали будущего гения. Леонидов». И все. С тех пор я стал концертантом.